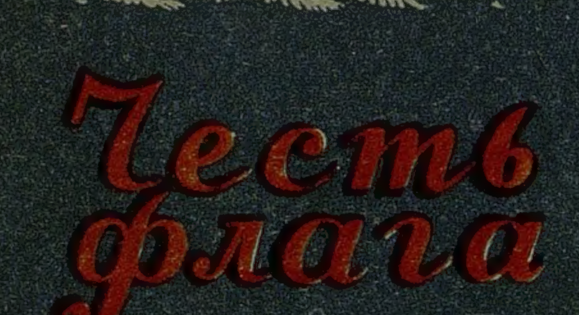
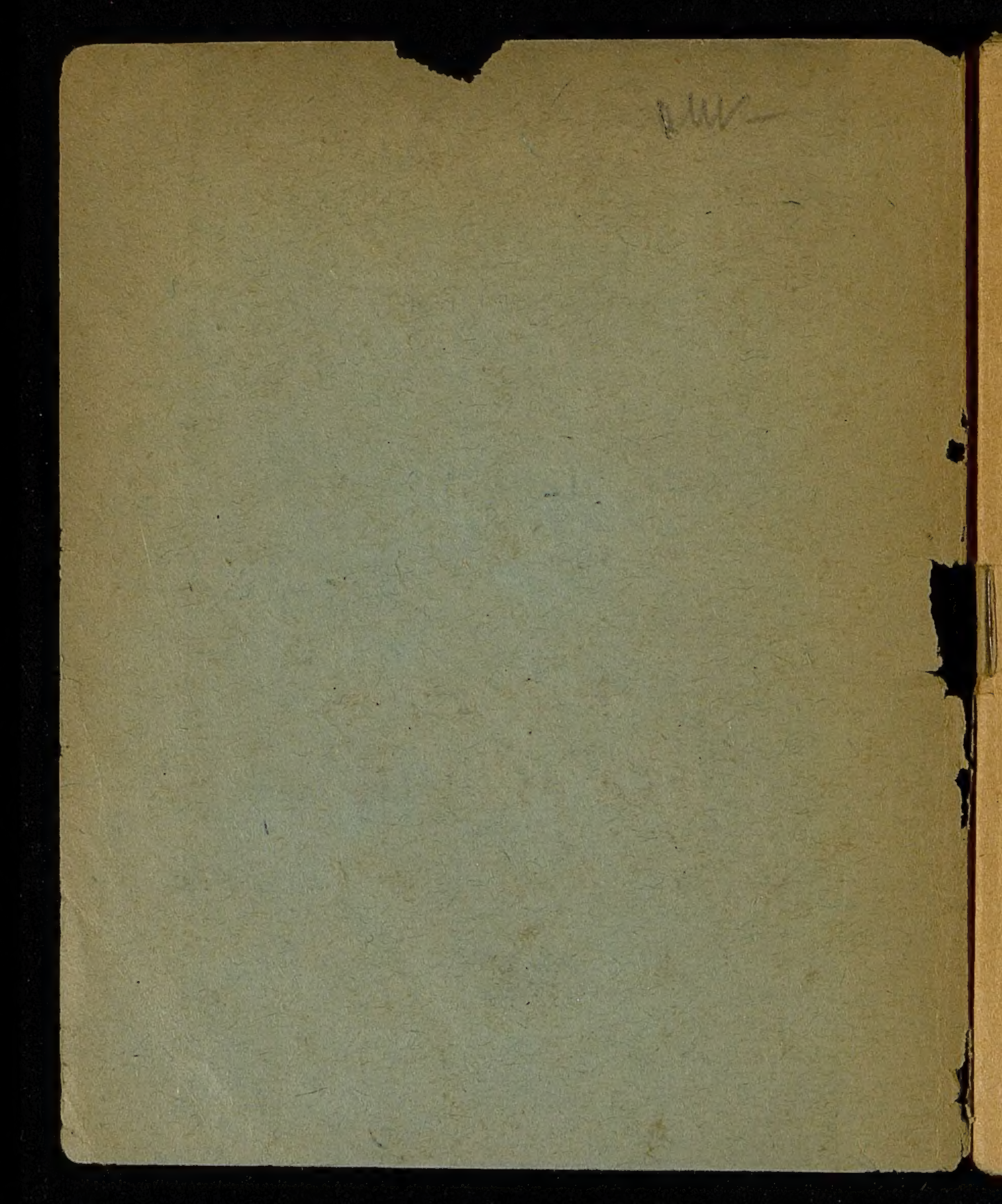
С. КОЛДУНОВ





Честь флага

ВОЕНМОРИЗДАТ
1943



Смерть немецким оккупантам!

ФРОНТОВАЯ БИБЛИОТЕКА КРАСНОФЛОТЦА

Сергей КОЛДУНОВ

ЧЕСТЬ ФЛАГА

Сталинградские рассказы



ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКВМФ СОЮЗА ССР
МОСКВА 1943

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Представьте, что за вами следят десять пар глаз. Пусть не все сразу, а по очереди — все равно. Каким бы вы ни были человеком — спокойным или нервным, развязным или стеснительным, — вы не можете относиться к этому равнодушно. Рано или поздно это начинает вас тяготить.

Лейтенант Лапин был только что назначен командиром катера взамен убитого Плетнева. Всего два дня назад он пришел сюда с тральщика, где служил старшим помощником, и во всем еще чувствовал то особое, несколько недоверчивое внимание, каким встречается на малом корабле появление нового человека.

Катер стоял под погрузкой у левого берега. Там, на противоположном городском берегу, гремели частые разрывы снарядов, с характерным грохотом рвались мины, взлетали в воздух водяные столбы. Здесь же было относительно спокойно и мирно. На катере не видно было крупных повреждений. Он выглядел свеженьким, как новорожденный, и покачивался на речной волне, точно в зыбке.

— Грузите ровнее, — сказал Лапин. — На кор-

му и на нос одинаково, чтобы осадка была равномерной.

— Есть, товарищ командир! — весело отвечал краснофлотец Ляльченко, исполнявший обязанности боцмана. — Есть грузить равномерно.

Красноликий, поросший рыжим волосом Ляльченко произносил эти слова с подчеркнутой готовностью. Но лейтенант видел лукавые, наблюдающие глаза, и ему становилось не по себе. С того момента, как он появился на катере, он всюду натыкался на такие вот изучающие, осторожные, куда-то в сторону уплывающие взгляды. Стоял ли он в рубке рядом с рулевым, заглядывал ли в машинное отделение, отдавал ли распоряжения на палубе — всюду он чувствовал обстрел десяти пар человеческих глаз, которые, казалось, говорили:

— А ну, посмотрим, что ты за человек, многого ли ты стоишь!

Лапин проверял себя, обдумывал каждое слово, но именно из-за этого все время испытывал странное беспокойство.

Команда изучала его качества. Люди уже привыкали к его немногословию и необщительности. Никто уже не удивлялся его привычке шевелить бровями. Всем примелькались новенький китель и неутомимая складка на брюках. Вероятно, краснофлотцы уже распознавали его шаги, гулкие, точные, несколько тяжеловатые для человека его лет. Но все-таки от него ждали каких-то особенных слов и поступков, которые вдруг целиком раскрывают человеческий характер.

Погрузка кончалась. Аккуратные ряды ящиков заполнили почти всю палубу. По сходням плыли на спинах людей последние порции груза. С целой колонной ящиков, утвержденной на уступе ярма, тяжело шагал по гнущимся доскам подвахтенный механик Рябов, человек с ленивыми движениями и хмурой усмешкой. Легко носился — летал, казалось, по воздуху — пулеметчик Габуния, тонкий грузин с изсиня-черными волосами. Электрик Казаков озлобленно крякал, принимая на спину тяжесть. Он шел с нею с таким выражением на лице, словно почитал себя несправедливо обиженным или оскорбленным.

Все эти люди были пока для Лапина такими же неизвестными, как неизвестен был для них он сам. Он знал их пока лишь по фамилиям и внешним приметам.

Стоя на мостике, наблюдая за погрузкой, лейтенант думал о том, что предстоит испытать ему с этими людьми в самом близком будущем. Сойдется ли он с ними? Установится ли у него с командой общность чувств и мыслей, столь необходимая в боевой обстановке?

Десять минут спустя катер отвалил от помоста. Выйдя из маскировочного укрытия и круто развернувшись, он пошел к правому берегу.

Горький дым пожарища стлался по реке. Громовые голоса войны становились все явственнее и явственнее. Стоя в рубке рядом с рулевым, Лапин смотрел в бинокль. Там, впереди, ежеминутно вырастали из реки рыжие сталагмиты. Смесь воды и

песка, они тотчас же рушились обратно с глухим стеклянным треском.

Нужно было пройти огневую завесу. Немцы хорошо простреливали эту часть реки. И как только катер вошел в опасную зону, орудия немцев заговорили злобной остервенелой скороговоркой.

Вот взметнулся слева от катера водяной фейерверк и на палубу обрушился грязевой дождь. С противным визгом шмыгнул мимо борта снаряд и там, дальше, зарылся в водяную гору. Стреляли, очевидно, сразу из нескольких мелких орудий. По тому, как ложились снаряды справа, слева, спереди и сзади, было видно, что у прицелов стоят опытные люди.

В короткие мгновения, отведенные для размышлений, у Лапина мелькнуло в голове несколько взаимоисключающих мыслей. Повернуть назад и, быть может, выйти на время из гнусной этой теснины, созданной падающими всюду снарядами. Мчаться, ни на что не взирая, вперед, рассчитывая проскочить опасный участок раньше, чем противник произведет пристрелку. Ни то, ни другое решение не годилось. Боеприпасы должны быть доставлены во что бы то ни стало, но и катер надо, конечно, сохранить от повреждений. Вот теперь-то ему, Лапину, и нужно было приложить свой ум, показать изворотливость, обнаружить ту самую «боевую смекалку», которую когда-то преподаватель тактики в училище называл военным искусством командира.

Скользя по ворсистой поверхности Волги, катер

стремительно мчался сквозь огневую завесу. Однако два водяных столба, взлетевших в следующее мгновение за кормой и у правого борта, потрясли судно до самого основания. Прыгнул и заплясал вверх и вниз недалекий берег. Рулевой требовательно посмотрел на своего командира. В мальчишеских глазах его застыло выражение не то испуга, не то удивления.

— Лево руля! — в ту же секунду сказал Лапин. — Маневрируйте переменным курсом.

Он сам удивился спокойной и твердой интонации собственного голоса. Он сказал это неторопливо, почти равнодушно, словно речь шла о том, чтобы пристать к пристани или взять на буксир барку. Впрочем, ему тотчас же показалось, что рулевой недостаточно быстро выполняет его приказания. Чуть оттеснив его от руля, он сам взялся за управление.

При первом прикосновении к штурвалу он почувствовал под рукой послушное тело катера. Суденышко хорошо слушалось руля. Оно взмыло по воде, точно напуганная падением камня рыба, но через минуту ринулось влево, потом вправо — и так вот, стремительно уклоняясь то в одну, то в другую сторону, шло вперед и вперед, все ближе к заданной цели.

— Так держать! — спокойно сказал Лапин, снова передавая штурвал вахтенному. — Врут, не пристреляются.

На рулевого пример без многих слов и пояснений подействовал как нельзя лучше.

— Есть так держать! — бойко крикнул он.

Лапин вооружился биноклем. Ниже по течению, у городского берега, уже видна была разгрузочная пристань.

Катер смелыми разворотами бороздил взбаламученную реку. Вода вскипала за его кормой. Веером расходящийся след принимал волнистый рисунок, схожий с орнаментом, какой Лапин видел на украинских полотенцах. Снаряды падали далеко в стороне. Не то немцы отчаялись что-нибудь сделать, не то катер вышел из поля действия батарей, но вскоре стрельба ослабела, а потом и прекратилась совсем.

Теперь катер шел ровно и спокойно всего в двух сотнях метров от правого берега. Лапин хорошо видел разрушенные здания, груды обожженного дерева и кирпича. Сталинград дышал и дымился, как разгоряченное борьбой большое тело. Дым медленно стлался по воде. Он ел глаза и занавешивал даль. Но Лапин смотрел, все смотрел на этот дымящийся мужественный город, который не хотел становиться перед врагом на колени.

Вот уже выросла из сизой пелены пристань. Толпа людей, пришедших для разгрузки, стояла на помосте, ожидая, когда катер пристанет к берегу.

Повернувшись носом против течения, катер ловко и плавно подошел к помосту. Коротконогий Лялченко, круглый и крепкий, как литой мяч, перелетел по воздуху на пристань раньше, чем борт прикоснулся к кранцам. Он закрепил швартовы с не-

брежным щегольством, как человек, уверенный в своем искусстве.

Катер застыл на месте. Тотчас же на палубу легла деревянная сходня, и группа людей, явившихся на разгрузку, пришла в движение.

Но очевидно там, за стенами полуразрушенных зданий и за грудами разваленного кирпича, тщательно следили за действиями катера. Как только корабль стал у помоста, противно мяукнула мина, а за ней другая. Они шлепнулись в воду, поднимая бешеный вал.

Вслед затем начался аккуратный методический обстрел. Мины рвались одна за другой в воде и на берегу. С угрожающим визгом проносились осколки, дробно стуча в рубку и в борт. На палубу сыпался дождь из грязи и обломков.

Пришедшие на разгрузку люди залегли.

Они полезли под пристанский помост, чтобы укрыться от осколков за толстыми бревнами. Кое-кто уполз под прикрытие кирпичной стены лабаза.

Катер был теперь в более опасном положении, чем раньше. Стоя у пристани, он представлял собой более удобную мишень, чем тогда, когда маневрировал среди речного простора. Правда, навесной минометный огонь не мог соперничать с огнем орудий. Самому катеру едва ли угрожала серьезная опасность. Но сыпавшиеся по широкому кругу мины и визжащие осколки сковывали людей.

Нужно было или разгружаться или отваливать. Не дремать же тут у пристани, чорт побери, до тех пор, пока шальная мина врежется в палубу, в ящи-

ки или в борт! Неужели надо уходить, не сдав груза? Нет, этого нельзя было допустить.

Лапин высунулся из рубки и, насколько мог, зычно крикнул:

— Эй, сухопутная команда! Давай на разгрузку! Нечего дурака валять!

Однако то ли его голоса не было слышно среди грохота валившихся обломков, то ли никто не счел возможным выполнить приказание. Люди, пришедшие на погрузку, продолжали лежать в укрытиях.

Лапин почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. В горле стало вдруг тепло и щекотно. Левая бровь его запрыгала в судорожных движениях. Гнев, досада, ярость — густая взрывчатая смесь взорвалась у него в груди. Он рванул дверку рубки и выскочил на палубу.

Он должен был действовать, и притом так, чтобы тотчас же начали действовать и другие!

Очутившись лицом к лицу с грохочущей пустотой, он тотчас же овладел собой. На плечи ему посыпались пыль, щебень, земля. Неторопливо, с удивившей его самого презрительной брезгливостью он смахнул грязь с кителя. Он чувствовал странное напряжение во всем теле, но пошел по палубе своим обычным гулким и точным шагом.

Он шел к ящикам, стоявшим на баке.

Взрыв мины с правого борта отбросил его в сторону. Струя воды окатила его с головы до ног. Катер снова заплясал на водяном горбе, но Лапин сохранял равновесие и расчетливо обходил препятствия.

Он приблизился к ящикам с боеприпасами и, подняв один из них на плечо, пошел по трапу на пристань. Он снес ящик на берег и положил у кирпичной стены лабаза, прикрывавшей груз от осколков. Затем неторопливо пошел по сходням обратно.

Уже приподнимались на земле люди. Они с любопытством, в котором сквозили виноватость и удивление, смотрели на человека в кителе, спокойно двигавшегося по помосту.

Из машинного отделения катера высунулась взлохмаченная голова механика Рябова. Он недоуменно взглянул на командира, не сразу взяв в толк, что тут происходит.

Грянул новый взрыв. Осколки, земля, грязевой дождь застучали по палубе катера. Но голова Рябова не спряталась в люке.

— Эй, свистать всех наверх! — хриплым громовым басом заорал он. — Все на разгрузку!

В ту же минуту он выскочил из люка и ринулся к ящикам.

— Мы это мигом, Владим Михалыч! — пробормотал он, проглатывая от поспешности слова. — Вы это бросьте. Нам это — пара пустяков!

Он почти вырвал из рук лейтенанта ящик, за который тот было взялся. И Лапин не настаивал.

Настаивать было уже не нужно.

Прошмыгнул мимо красноликий Ляльченко. С чрезмерной бойкостью, как человек, давно уже распаленный спешной работой, он сразу схватил два ящика и побежал с ними по сходням, осыпая бранью лежавших на берегу людей. Уже плясал

около ящиков стройный, как девушка, пулеметчик Габуния. Хмуро покрякивал электрик Казаков. Ящики поплыли на плечах людей к кирпичной стене, где положен был первый из них лейтенантом Лапиным.

На берегу, среди погрузочной команды, тоже начиналось шевеление. Обросший волосом, как ламповый ерш, поднялся с земли бригадир. Он посмотрел на двигавшихся по сходням людей, как будто только что очнулся от обморока. Поспешно крикнув что-то, он побежал на пристань, надевая на бегу ярмо.

Начали вылезать люди из-под помоста.

— Вот шпарит стерва! — сказал один из грузчиков, как бы оправдываясь. — Нечего сказать, задает дрозда...

Однако, натянув на голову просаленную пилотку, он развалистой рысцой двинулся к катеру. За ним потянулись остальные. И разгрузка пошла обычным чередом.

По живому конвейеру потекли с палубы катера пахнувшие свежим тесом ящики, заключавшие драгоценный груз. Лапин, стоя на мостике, лишь негромко отдавал распоряжения.

То тут, то там вгрызались в берег мины. Людей засыпало землей. Обвал воды обрушивался на головы. Один из разгрузочной команды лежал уже на досках у лабаза, а другой перевязывал ему ногу. Но дело быстро подвигалось вперед, и накрашенная ватерлиния медленно поднималась над взбаламученной водой.

Разгрузка была закончена в одиннадцать минут.
Лейтенант Лапин с удовлетворением посмотрел на часы. Затем привычным движением аккуратного человека одернул свой мокрый грязный китель.

— Вахтенные в машину! — сказал он. — Спасибо, товарищи! Спасибо, товарищ Рябов! Ляльченко, отдай швартовы!

И борт катера начал отходить от пристани.

Забормотал внутри корпуса мотор, завертелся винт, закипела за кормой вода.

— Есть отдать швартовы! — кричал палубный Ляльченко.

— Есть самый полный! — отвечали из машинного отделения.

— Есть держать прямо! — говорил рядом рулевой.

Теперь Лапин не слышал уже в этих ответах насмешливых, недоверчивых ноток. Веселая готовность выполнять каждое приказание нового командира, вера в его силу, уменье и находчивость звучали в этих отовсюду слетавшихся в рубку «есть».

МАЛЕНЬКАЯ ДОЛЖНОСТЬ

1

Иван Ложкин, кочегар канонерской лодки «Дерзкий», был в явной обиде на свою судьбу. В минуту откровенности он так и говорил друзьям из «верхней» команды.

— Какой ты там ни есть человек, а все же матрос, настоящий кореш... Что я есть перед тобой?

Ничего — трюмная швабра. Не велика честь в кочегарке слани тереть... Не по моему характеру.

Круглое розовое веселое лицо Ложкина становилось напыщенно сердитым, и приятели не упускали тогда случая «надраить» кочегара.

— Ты что же, Ваня, в адмиралы метишь?.. Или уже прямо без пересадки — в наркомы?.. Чем тебе твоя кочегарка не нравится?

В ответ Ложкин только безнадежно махал рукой.

— Да что там говорить, должность самая что ни на есть последняя! В военное время даже совестно...

Канонерская лодка уже третью неделю находилась под Сталинградом. Но в кочегарке большей частью стоял такой гром от форсунок, что даже артиллерийская стрельба с палубы доносилась как бы издалека, ослабленной и неправдоподобно мирной.

«Точно лес рубят», — думал тогда Ложкин.

Лишь однажды в канонерку попал вражеский снаряд. Рифленые слани под ногами Ложкина подпрыгнули. Погасли форсунки, и, казалось, качнулся даже сам котел. По палубе над головой Ложкина промчался топот десятков ног, послышались звуки команды. Там, наверху, происходило, повидимому, что-то важное — может быть, тушили пожар или извлекали из-под обломков раненых. Ложкин факелом зажег форсунки. Пламя вымахнуло из поддувала — и в кочегарке снова поднялся все заглушавший вой.

Во всех случаях Ложкин должен был только стоять у форсунок, смотреть, как прыгает в водо-

мерном стекле блестящий пузырек и как дрожит у красной черты стрелка манометра.

А то и того хуже.

Замаскированная канонерка по нескольку дней кряду стояла у лугового берега и вела стрельбу. Ложкину даже не приходилось шуровать. Он сидел на подрамнике у металлической переборки и слушал, как гремели на палубе лихие залпы. В такие минуты он казался самому себе ненужной и бесполезной вещью, вроде обрубка дерева, торчавшего в кочегарке между шпангоутами.

Он до блеска начищал медную арматуру котла, и она сверкала на его вахте жарче форсуночного пламени. Мазут в нефтенапорном баке находился на самом верхнем уровне.

Но чувство неловкости не проходило.

Там, на палубе, любой незаметный матрос под огнем противника мог стать незаменимым и необходимейшим человеком. Лишь он вот должен сидеть в своей кочегарке, где не гремят сейчас даже форсунки, и ждать, когда придет смена.

Порой он различал над канонеркой зуденье вражеских самолетов. Часто-часто начинали трещать зенитки. Стеклянный гул взлетавшей к небу воды звучал в его ушах. За толстым стеклом бортового иллюминатора поднималась яростная волна.

И тогда Ложкин, как бы забывшись, подбегал к трапу и, остановившись тут, разводил руками.

— Эх-ма! — только и говорил он, но в этом восклицании выражалась вся его великая застоявшаяся обида.

2

В девять вечера канонерка должна была выйти на выполнение боевого задания.

В шесть Ложкин спустился в кочегарку на очередную вахту.

К его удивлению, он застал здесь необычную суету. Около топки, у форсунок, кроме вахтенного кочегара, стояли старший механик канонерки и его помощник. И между ними, как сразу понял Ложкин, шел крупный разговор.

— Что же вы мне ничего не докладывали? — кричал механик, заглушая шум форсунок. — Почему довели до такого?.. За чем вы смотрите? Для чего вы здесь поставлены?

Видно было, что в этих, в сущности бесполезных, словах механик ищет выхода раздражению. Темная щегольская бородка его судорожно вздрагивала. Тон речи становился все горячее.

— Да я вам докладывал в три часа, — говорил его помощник. — Вы ничего не сказали...

Механик хорошо помнил, что ему действительно докладывали, но именно это обстоятельство и приводило его в еще большее возбуждение.

Угроза аварии была налицо.

Механик еще и еще раз заглядывал в глазок топки, но результат был один и тот же. Текли трубы. Он видел похожую строением на соты заднюю стенку топки, куда выходили концы дымогарных труб. Белое пламя, прикасаясь к тем местам, где была течь, становилось красным. Котел без ремонта мог выйти из строя в любой момент.

— Что вы меня сюда притащили? — кричал механик. — Вы понимаете, что вы со мной делаете?.. Через три часа корабль должен выйти... Что я скажу командиру? И что я от него услышу?.. Что я — шляпа?.. Что я распустил вас?.. Что командующий похвалит меня специальным приказом?..

Он хлопал кулаком по ладони и наступал на низкорослого помощника. Виновато одергивая китель, тот медленно отступал перед механиком к металлической переборке.

— Теперь вы убедились сами, — оправдывался он. — Придется тушить котел. Сегодня мы выйти не можем.

Ложкин слушал горячий разговор начальства, и на его круглом, простодушном лице отображалось наивное удивление. Только бойкие серые глаза его говорили о сметливости и энергии. Он прильнул к смотровому отверстию топки, и ему все стало ясно. Да, текли трубы. Их нужно было развальцевать. Откинувшись от глазка, Ложкин медленно почесывал в затылке, всем своим видом выражая трудное раздумье.

— Зарезали вы меня! — продолжал кричать механик. — Ремонт пустяковый, да хлопот с ним полный рот. Спустим пар, потом в полсутки не нагоним. С какими глазами пойду я теперь к командиру?

— Ничего не поделаешь, — уныло твердил помощник. — Будет хуже, если нас на буксире тащить придется.

В этом месте бурный разговор механика с помощником был прерван вмешательством Ложкина.



— Дозвольте, товарищ инженер-лейтенант! — сказал он, козырнув с лихостью, показывавшей изрядную бойкость характера. — Дозвольте два слова.

— Пожалуйста, хоть три, — лениво-раздраженно ответил механик.

Он напряженно думал о том, как выйти из затруднения. Вмешательство кочегара казалось ему совершенно бесполезным.

— Можно без того, чтобы пар спущать, — объяснил свою мысль Ложкин. — Надо только немножко топку поостудить — часика на полтора. А потом можно что-нибудь надеть на себя, да и к делу... Так что через три часа котел будет в полном порядке.

Он выпалил все это торопясь, единым духом. И механик замахал на него руками.

— Постой, постой!.. Недоставало еще того, чтобы тебя в госпиталь списали?!

— Не беспокойтесь, товарищ командир!.. Мы люди к жаре привычные.

Механик посмотрел на своего помощника вопросительно.

— Пожалуй, можно попробовать,—сказал тот,— мысль не плохая.

И механик, повернувшись к Ложкину, вопреки положенным по рангу отношениям, полуобнял кочегара за плечи.

— Ну, что же... Попробуйте, Ложкин, попробуйте!.. Родина оценит вашу работу...

3

Когда человек маленький и до того незаметный волею обстоятельств выдвигается на первое место, он чувствует от оказываемого ему внимания только одно стесняющее смущение.

Окруженный вахтенными и подвахтенными по машине, Ложкин облачался для предстоящей работы. Он надевал на себя несколько пар белья, двое брюк, две старых форменки и поверх всего этого брезентовый комбинезон. Вокруг шутили, подсмеивались, но в шутках слышалось беззлобное удивление — дань невольного признания.

— Смотри, Ложкин, не испекись в топке-то!.. Чуть что — кричи, мы тебя мигом за ноги выволочем.

— Ничего, — отвечал Ложкин, скрывая смущение за наигранной бойкостью. — У меня натура прохладная. Из нашего брата не скоро луковник спечешь. Парить надо долго.

— Больше, больше на себя накручивай! — озабоченно приказывал помощник механика. — Лучше с запасом, чем мало.

Форсунки были потушены полтора часа назад. Но так как корабль стоял, давление в котле держалось хорошо. Открытое шуровальное отверстие топки чернело, точно разинутая пасть. Из пасти веяло горячим дыханием.

Ложкин уже надел поверх тряпья брезентовый комбинезон и оглядывал себя со смешливым изумлением.

— Теперь я, вроде, самого Папанина перешиб! — говорил он. — Все равно что на полюс собрался.

В своем облачении он, в самом деле, походил на полярного путешественника. Даже меховая ушанка была на его голове.

Грешным делом, он ловил себя на смутной гордости, просыпавшейся в нем помимо воли. Ведь вот и Ложкин может на что-нибудь пригодиться. Вся эта махина механизмов, людей, орудий должна была бы простоять здесь в бездействии еще почти сутки, а вот он, Ложкин, попытается дать ей жизнь в какие-нибудь два-три часа.

Впрочем, гордость тотчас же переходила в опасение: а вдруг он не выдержит? Он понимал, что любой из кочегаров сделает то же самое. Ему только первому пришла в голову мысль. И он ревниво поглядывал в сторону на кочегара Работнова, который, как и он, облачался во множество одежек на случай, если понадобится сменить Ложкина в топке.

— Давай, Иванов, вальцовку! — сказал Ложкин. — Полезу теперь.

И подвахтенный кочегар с готовностью бросился за инструментом.

4

Ложкин сунул голову в топку и начал протискиваться в шуровальное отверстие. Он так основательно оделся, что теперь еле пролезал.

Из черной топочной бочки на него сразу же пахнуло знойным теплом.

Ему подали переносную лампу, защищенную оплеткой, ведро с холодной водой, две доски и инструменты. И он пополз к задней стенке топки, похожей на пчелиные соты.

Теперь в ярко освещенной топке он был словно кусок мяса в кипящей кастрюле. За тонкой стенкой, в самом деле, еще кипела вода. В сухопарнике толкался сухой перегретый пар. От металла веяло горячим ветром. Огненный воздух проник в грудь Ложкина. Сразу по всему телу проступила испарина и стало тяжело дышать.

Утвердившись на доске, чтобы не было горячо ногам, кочегар принялся за развальцовку. Для этого нужно было вставить в выпиравший конец трубы конический шпиндель и затем ввинчивать его, как штопор, чтобы раскатать трубу и прижать ее к стенке топки. Это была тяжелая физическая работа, которая трудна и в обыкновенной обстановке.

Сразу же горячий пот полил у Ложкина с лица. Взмокло все тело. Одежда стала влажной от лившегося, как дождь, пота. Теперь кочегар чувствовал себя, примерно, так же, как чувствовал бы непривычный человек на полке в жарко натопленной деревенской бане. Здесь было так же черно, так же тесно, так же душно. И это сходство с чем-то знакомым, обжитым, домашним как-то сразу обнадеживало.

«Ничего, выдержу! — подумал Ложкин увереннее. — В нашей сосновской баньке, пожалуй, и горячей бывало».

Это было, конечно, не так, но Ложкину хотелось себя подбодрить. На миг он ясно представил себе деревню, маленькую покосившуюся баньку на огороде и росшую рядом с нею старую ветлу. Привычными движениями он повертывал ручку вальцовки и ввинчивал в трубу шпиндель.

Дело шло не плохо. Несколько развальцованных труб уже не текло. Но работать становилось все тяжелее и тяжелее.

Вальцовка быстро нагревалась. Она жгла руки даже сквозь брезентовые рукавицы. Каждый раз, покончив с очередной трубой, Ложкин опускал вальцовку в ведро с водой. Но вода скоро тоже нагрелась и уже не охлаждала инструмента.

Прогрелась также и куча тряпья, которую понадевал на себя кочегар. Достаточно ему было навалиться спиной или опереться локтем о стенку, как тотчас же начинало жечь.

Он отдергивал руку, бормоча что-то сквозь зубы.

Снизу, через поддувало, шла струя более свежего воздуха. Ложкин, наклонясь, хватал ртом эту теплую, но казавшуюся ему прохладной струю. В голове у него шумело, как от угара. Мерно, но сильно колотилось в груди сердце, ставшее теперь ощутимым, как у запыхавшегося от бега человека.

Останавливаться для отдыха было нельзя. Какой там отдых в горячей топке? Нужно было выигрывать каждую секунду для работы, чтобы не разомлеть и не свалиться тут на горячий знойный металл.

Ложкин уже с большим усилием крутил ручку

вальцовки. Труба за трубой переставали течь. Но ему казалось, что не было конца этим круглым дырам, которые плыли в глазах, точно рой черных мух.

— Ложкин, не сменить ли тебя? — послышалось у шуровального отверстия. — Эй, Ложкин! .. Тридцать минут сидишь...

Этот голос пришел откуда-то из непонятного далека, словно из прошлого. Но кочегар довольно внятно ответил:

— Нет, нет! Сейчас кончаю.

Дыхание спирало, сердце стучало в груди, точно отбойный молоток. Но Ложкин вертел и вертел ручку, видя перед собой только черные кружки дымогарных труб.

Наконец, он не вытерпел. Не было мочи дышать, мутная волна ударила в голову. Ползком, не будучи в силах держаться на ногах, Ложкин добрался до шуровального отверстия.

— Тащите! — пробормотал он, высунув голову из топки. — Тащите скорее.

Ложкина вытащили в десяток рук.

Дымясь, как только что вынутый из кастрюли кусок, он лежал в своих тряпках на железных слянях кочегарки. Вверху, над головой его, сиял освещенный солнцем люк. В люк, прямо на Ложкина, лилась блаженная прохладная струя осеннего воздуха. Такой пьянящей свежести воздуха Ложкин раньше не знал никогда. Но, наслаждаясь ею, он все же косил глазом на топку, в которую, закутанный, как Ложкин, во всевозможное тряпье, лез его сменщик Работнов.

Кто-то из окружавших начал было раскутывать Ложкина.

— Ну, что ж ты, Ложкин! Ведь ты никак сварился?..

Ложкин отвел руку и медленно, с передышкой, проговорил:

— Не трожь, дай полежать... Подышать, говорю, дай... Никак я... не сварился.

Видно было, что он уже приходил в себя. Через минуту он попросил окатить себя из шланга, а через пять минут — стоял уже на ногах и даже шутил с командой.

— Ну, как, Ложкин, высока температура? — спрашивал его рыжий Веселов, сосед по кубрику.

— Да ничего! У меня говядина, как у старого мерина, только на большом огне провариться может. Это тебе вот, паленому, лезть туда нельзя...

В эту минуту в отверстии топки показалось красное распаренное лицо Работнова. Вялые, плохо двигавшиеся губы его пробормотали:

— Мочи нет, ребята! Тащите давайте!

И Работнова вытащили в кочегарку.

— Чисто сработано, — сказал он. — Ванька для меня только две трубы оставил. Можно подымать пары...

Через полчаса в кочегарке все уже было как обычно.

Медленно подрагивала облепленная асбестом тяжелая туша котла. Звучал звенящий гул форсунок. Как пущенная из шланга струя, бешено билось в

топке пламя, и желтые блики его плясали на отполированных ногами сланях.

Ложкин достаивал вахту. Лишь изредка взглядывал он на стрелку манометра, дрожавшую у красной черты.

На палубе слышались шум и движение, предшествующие отплытию. Гремела якорная цепь. Повизгивал и стучал по железу штуртрос. Машина работа на малом ходу.

Канонерская лодка в положенный час отправлялась на выполнение боевого задания.

И слушая мощное дыхание большого ее тела, к жизни которого он имел близкое отношение, Ложкин уже не думал, что он на корабле последний человек.

СОЛОНИХИНСКИЙ ТЕНОР

Краснофлотец Жебанов, лотовый тральщика «Сибиряк», был обладателем редкого голоса.

Говорили, что заволжское село Солониха, из которого он происходил, испокон веков славилось голосами. Чистый, звучавший, как инструмент, лившийся из глубины души тенор Жебанова был действительно необыкновенным. Специалисты отнесли бы его к разряду лирических теноров, но на тральщике, где ученых по певческой части не водилось, тенор этот прозвали просто солонихинским.

— Послушаем нашего солонихинского! — говорили краснофлотцы в те дни, когда в кубрике назначался вечер самодеятельности.

Жебанов так пел задушевные русские песни, что

прошибало самых нечувствительных. В кубрике во время его выступлений стояла благоговейная тишина. Суровые лица краснофлотцев светлели. Жесткие глаза загорались мягким светом. Людей охватывала та самая отрешенная от будничных дел задумчивость, которая порождается подлинным искусством.

После вечера Жебанова обыкновенно качали.

— Тише, черти! Разобьете! — кричал он, счастливый, разгоряченный и возбужденный успехом.

И из толпы отвечали:

— Небойсь, не разобьем!..

— Уважил, Петя...

— Тебя послушаешь, все равно, что письмо из дома получишь...

Впрочем, с тех пор, как тральщик работал под Сталинградом, для певческих вечеров в кубрике оставалось все меньше и меньше времени.

В конце октября груженный боеприпасами «Сибиряк» пересекал вблизи от Сталинграда воткинский перекат.

Фарватер в этом месте был узок, хотя Волга и разливалась на два с лишним километра. В свете близкого к закату солнца всюду просвечивали отблески мелей. Течение было быстрым. Река играла и пенилась над нанесенными сюда песками.

Маневрирование в таких местах довольно сложно. И на носу тральщика давно уже стоял с футштоком в руках краснофлотец Жебанов.

— Три с половиной! — раздавался над рекой

его изумительно сильный, схожий со звуком кларнета голос. — Три! .. Три с половиной!

Жебанов не просто выкрикивал эти простые слова, показывавшие глубину у форштевня судна. Он пел цифры на особый протяжный лад, как издавна заведено у исконных волгарей.

Молодой и звонкий голос его звучал вкусно, свежо и весело. Наметчику доставляло удовольствие пробовать на волжском просторе силу своих легких и горла. Он оттягивал слова, и окончание «ой» долго катилось над рекой, точно чей-то печальный вздох.

В рубке тральщика хорошо слышали жебановский голос.

— Ишь, заливается! — сказал молодой рулевой осиплым фальцетом. — В кубрике глотку драть не приходится, так он на баке воет.

Неодобрительное замечание рулевого имело свои причины — он соперничал с Жебановым, он тоже пел старинные русские песни. Его замечание так именно и понимал лоцман, прислушивавшийся к солонихинскому тенору с явным наслаждением.

— Завидно, Митя? — проговорил он насмешливо. — Пропил свой голос-то! Теперь вот Жебанова послушай.

Рулевой голоса, конечно, не пропил. Он просто простудился и хрипел уже целую неделю. Но ему неприятно было это напоминание о торжестве противника.

— Нечего глотку драть! И так слышно.

— Три! .. Три с половиной! — неслось над рекой неторопливо и протяжно.

И прислушивавшийся к этим звукам лоцман как бы в раздумье сказал:

— Хорош у бездельника голос! .. Ему бы в науку... Толк бы из подлеца вышел.

«Бездельника» и «подлеца» он прибавлял, конечно, не в ругань, а для ласки. И рулевой больше уже не отвечал.

Из опасения наскочить на мель корабль шел по перекату на малом ходу. Жебанов спускал в воду полосатый футшток и, достав дно, задерживал шест, пока он не становился в вертикальное положение. Футшток двигался теперь по борту, вернее, борт проходил мимо футштока. Шест дрожал от напора воды, как струна. И наметчик, отметив глазом погружение, снова запевал:

— Три! .. Три с половиной! .. Три три четверти! ..

Неслышно несла Волга могучие свои воды. На берегу спокойно дремал тальник да желтели песок и мелкая галька. И, если бы не глухой гром дальней кононады, вечер казался бы тихим и безмятежным, как в прежние довоенные времена.

... Вдруг, нарушая напряженную недолговечную тишину, за кормой тральщика раздался выстрел. Снаряд с визгом пронесся над судном и упал далеко в воду, подняв из реки грязновато-серую крону воды и песка.

— Ну-с! — протяжно сказал лоцман.

Он не произносил больше ничего, но в этом ко-

ротком «ну-с!» звучали презрение, насмешка и неизвестно на чем основанная уверенность, что сколько бы немцы не стреляли, это все равно не может иметь к нему близкое отношение.

— Теперь будут шпарить! — в другом тоне, в тоне досады и легкого нетерпения, проговорил рулевой.

— Ну и чорт с ними, пусть шпарят, — беспечно и с некоторой даже ленцой заключил лоцман.

Орудия тральщика повернулись в сторону правого берега. Из жерл их вырвался огненный гремящий вихрь. Вихрь этот обрушился на далекие холмы, откуда начали обстрел немцы.

Через несколько минут не было уже вокруг ни тишины, ни спокойствия, ни мерного движения ничем не возмущенных вод. То справа, то слева от корабля взлетали к небу водяные столбы. Уже скрежетали по обшивке и ударялись о палубу осколки. Время от времени грохотали орудия главного калибра. Корабль содрогался при выстрелах точно от нервной дрожи. В промежутках между взрывами и выстрелами, в минутной призрачной тишине, с бака доносился все тот же ясный, сильный, звучавший, как кларнет, голос:

— Три с половиной! .. Три с четвертью!

Наметчик Жебанов продолжал свою работу.

Он заносил длинный футшток вперед, по ходу корабля. Скользящим движением шест опускался в воду, на дно, и затем выносился водой на поверхность, чтобы в следующее мгновение описать в воздухе смелую дугу.

Внезапно послышался нараставший визг. Он разрешился сильным взрывом почти у самого носа тральщика. Потоки грязно-рыжей воды обрушились на палубу. По переборкам и металлическим частям корабля часто застучали осколки.

Когда вслед за взрывом наступила минутная тишина, в ней слышны были только гул форсунок в котельном отделении да шуршание волжской воды, рассекаемой носом тральщика.

Голос наметчика затих.

В наступивших сумерках было плохо видно, что делалось на баке. Но Жебанова уже не было слышно; не звучал больше знаменитый солонихинский тенор.

— Наметчика ранило! — крикнул кто-то с палубы.

Рулевой высунулся из окна рубки и сиплым фальцетом, не жалея горла, закричал:

— Фельдшера к наметчику, фельдшера!..

Тральщик двигался без наметки. В машинное отделение с командирского мостика полетела очередная команда.

— Тихий ход!.. Самый тихий!..

И по палубе:

— Эй, сменить наметчика!..

— Есть сменить наметчика! — отвечал лоцман.— Перекрестов, к наметке!.. К наметке Перекрестова!..

Но пока по палубе раздавался топот ног, пока фельдшер вылезал из тамбура, расстегивая на ходу

санитарную сумку, над рекой вдруг снова послышался звонкий знакомый голос:

— Три с половиной!.. Три три четверти!.. Четыре!..

Голос был не совсем чист. По звуку казалось, что вылетает он из груди с неимоверным усилием. Но рулевой в рубке, забыв, очевидно, и о зависти и о неудовольствии, бурно сипел обеспокоенному лоцману:

— Есть, есть... стоят наши солонихинские!..

Тральщик уже выходил с переката.

— Пять с половиной!.. Табак!..[1] — неутомимо неслось с бака.

— Вперед, полный! — проговорили в трубку с мостика.

А через несколько минут появившийся перед командиром тральщика фельдшер скороговоркой докладывал:

— Ранение в плечо и в руку, товарищ командир!.. Наметчик Жебанов отказался уйти с поста.

„ВОДОГЛАЗ"

Развертываясь под обстрелом противника, катер лейтенанта Трошина внезапно потерял управление. Не проворачивался винт, перестали слушаться рули. Катер сносило по течению к правому берегу, и противник, заметив это, усилил стрельбу.

---

[1] «Табак» — условное обозначение волжских наметчиков — означает, что глубина выше накрашенных меток, но что шест еще достает дно.

— Что там у вас на корме? — трубным голосом закричал командир, высовываясь из рубки. — Кормовой, чего смотришь?..

Кормовой, краснофлотец Бида, молчал, работая багром. Вполголоса, но с большой экспрессией он поминал уже имевших отношение к случаю родителей и какую-то «слепую глазенапину». Последнее выражение он, видимо, относил к самому себе. Это он оставил незакрепленным конец троса на корме катера. И вот теперь из этого маленького недосмотра родилась крупная неприятность.

— Рули заклинило! — хрипло крикнул он, наконец. — Трос на винт намотался!

Командир, выбрасывая на ходу столько сильных слов, сколько не выбросить пуль хорошему пулемету, уже устремился на корму, где стояли Бида и другие краснофлотцы.

— Отдай якорь! — закричал командир. — Трави трос, чорт бы вас побрал!..

Но вскоре он сам убедился, что этими несложными действиями ничего нельзя было поделать. Бида и один из краснофлотцев и так уже работали за пятерых. Они травили трос, силились вывести и раскрутить его баграми, но попытки ни к чему не вели. Трос так крепко намотался, что его можно было снять только разрубив.

Катер уже стоял на якоре.

По обеим сторонам от него с грохотом шлепались в воду снаряды. Косматые водяные выпрыгивали из реки и, как бы испугавшись дневного света,

тотчас же прятались обратно, оставляя на поверхности бунтующие круги.

— Что же теперь делать? — ни к кому не обращаясь, спрашивал Трошин. — Теперь нас немчура за милую душу распатронит... Кто спустится в воду, чтобы посмотреть?..

И тотчас же кормовой Бида царапающим басом подхватил:

— Есть спуститься в воду, товарищ командир!

Это было легче сказать, чем исполнить. Холодный октябрьский ветер свистал вдоль стрежня, где остановился катер. Волга была неласкова. Ледяные ее волны пенились, и сердитые беляки гуляли по простору.

Бида сбросил одежду и взялся за перекладину подвесного трапа. Без одежды, в одних трусах, он выглядел еще более длинным и несуразным. Он спустился за борт, и ледяная вода сжала его со всех сторон, точно чьи-то беспощадные лапы. Задыхаясь от холода, он нырнул с головой и, придерживаясь одной рукой за руль, нащупал намотавшийся на винт трос. Нечего было и думать освободить трос руками. Тут нужно было работать под водой с зубилом или с ножовкой. Нырять на полминуты — пустая трата времени.

Бида вылез на палубу еще более смущенным и виноватым.

— С трапа его не достанешь, — доложил он. — Надо под водой. Тут голыми руками ничего не попишешь.

И Трошин еще сердитее задергал рыжеватый, любовно отпущенный ус.

— Что же нам в док становиться? .. Или, может, водолазов вызвать прикажете? .. А немцы тем временем будут чай пить. Дескать, поправляйтесь, ребята, потом докончим... Надо своими средствами!

Это было понятно само собой. Какой там водолаз, да и как его вызвать!

Бида голый, в накинутой на плечи шинели, стоял перед командиром в позе тяжелого раздумья. Потом вдруг на мрачное лицо его набежала, как свет, неожиданная усмешка. Он бросился к машинному люку с победным скрежещущим хрипом:

— Есть делать своими средствами!

Тайна этого восклицания открылась только спустя несколько минут. Бида появился на корме с грудой противогазов в руках. Физиономия у него была блаженно-радостная, смущенно-восторженная — такая, какая бывает у новобрачных или у победителей спортивных состязаний.

— Я заместо водоглаза сработаю, — сказал он, путая от поспешности слова. — Дозвольте, товарищ командир!

Только теперь стало ясно, что хотел сделать Бида. Он присоединил несколько гофрированных трубок к одной маске и рассчитывал теперь работать под водой, дыша через выставленный наружу шланг.

— Держи конец! — приказал он с несвойственной ему уверенностью товарищу. — А уже если окоченею, тащи наверх. Вода дюже холодна!

Для осенней Волги это было слишком нежное выражение.

Вода была не только холодной, вода была яростной, исступленной. Казалось, тело погружается в какую-то ядовитую жидкость, сразу свертывавшую в жилах кровь. Перехватывало дыхание, сжимало грудь. Тело съеживалось в комок и корчилось от невыносимого холода.

Бида, держась за руль, спустился под воду. Один из краснофлотцев закрепил конец импровизированного шланга на уровне борта. Аппарат действовал вполне удовлетворительно. Вода не проникала под плотно прилипшую к лицу маску. И Бида мог дышать свободно, как в водолазном скафандре.

Сквозь стекла противогаза, в зеленоватом колышущемся сумраке, он видел перед собой гребной винт катера и намотавшийся на него трос. Собирая все силы, он бешено дергал трос руками, пилил ножовкой, рубил зубилом. Он бился под водой, как в припадке, пытаясь в избытке движений забыть о смертном холоде. Однако руки его, несмотря ни на что, быстро коченели. Пальцы отказывались держать инструмент.

— Только бы не сдрейфить! Только бы сорвать этот дьявольский трос!

Внезапно Бида услышал под водой звонкий стеклянный взрыв. Его подбросило волной и больно ударило о винт. Очевидно, неподалеку разорвался снаряд. Затем по обшивке борта часто-часто застучала пулеметная очередь. Вокруг краснофлотца зашлепались в воду рикошетировавшие пули.

Стало почему-то теплее правому плечу.

Бида повернул голову и увидел сквозь стекла красноватый дымок, струившийся в зеленом сумраке от его плеча. Он понял, что это кровь растворяется в воде, и заработал еще быстрее.

Он слышал, как лилась с палубы катера вода и как в ответ немцам начали бить наши пулеметы. И он пилил и пилил проклятый трос, чувствуя, как с каждой минутой все больше немеют руки и стынет тело.

Он не поддавался, этот крепкий, на совесть сделанный стальной трос!

Было неудобно держать инструменты. Приходилось одновременно отталкиваться ногами от борта и держаться ими за руль. Иначе течением Биду выносило на поверхность.

Руки окончательно закоченели. Ножовка выскользнула из неслушавшихся пальцев и пошла ко дну. Но в ту же минуту трос лопнул. Бида рванул за конец и отделил его от винта.

У него хватило еще сил дернуть за веревку, к которой он был привязан. Но как его тащили и как извлекли из воды, он помнил смутно.

Он стоял на палубе, окутанный теплой шинелью, и дробно дрожал всем телом. Маску уже стащили с него. На краснофлотцев смотрело теперь немножко ошеломленное, посиневшее, но счастливое лицо.

— Ппе... рра... рубил ттросс! — сказал он, наконец, не попадая зуб на зуб. — Вва... се в порядке.

Командир катера любовно и ласково улыбнулся и с чувством проговорил:

— Ах, ты... водоглаз наш Бидовый!

Так возникло у краснофлотца Биды почетное прозвище «водоглаза».

Через две минуты катер уже снялся с якоря. За кормой еще вставали то тут, то там водяные «свечки», но катер, снова обретший свободу, летел по реке, как вырвавшаяся из силков птица, стремительно и сильно рассекая воду.

ЧЕСТЬ ФЛАГА

Костров был самым молодым краснофлотцем на корабле. Безусое лицо его было румяным и свежим, как у пятнадцатилетней девушки. Светлые волосы, недавно остриженные под машинку, покрывали голову, точно золотая пыль. И под стать всему лицу, даже глаза его были кроткого небесно-голубого цвета.

Ко всему прочему у него было необычное имя — Серафим. Это имя дал ему сельский священник при крещении, состоявшемся по настоянию бабушки. Даже отец Кострова, хотя он и был солидным человеком и председателем колхоза, не посмел перечить богомольной и властной старухе.

Когда Серафим Костров впервые явился на корабль, боцман Гущин критически посмотрел на девические щеки краснофлотца, а услышав его имя, откровенно обиделся.

— Ну вот, ангелочка прислали! Что мы в дом

отдыха едем? Под Сталинград идем... Куда нам таких...

Боцман, очевидно, хотел прибавить какое-то неудобосказуемое прилагательное, но, посмотрев в загоревшиеся глаза Кострова, раздумал. Было что-то в этих голубых глазах просторное и смелое, словно в синеве октябрьского ветряного неба, раскинувшегося над рекой.

Воздержание от окончательного суждения для боцмана оказалось, несомненно, полезным. За несколько дней, пока корабль стоял пришвартованным к пристани, Костров зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Он был веселым, трудолюбивым парнем, и теперь всюду мелькала его маленькая мальчишеская фигурка и слышался бойкий альтовый тенорок.

Там, где работал Костров со шваброй, палуба корабля сверкала и лоснилась, как каток. Медь, правда, теперь уже не драилась, но порядок на судне царствовал образцовый.

Стоя у борта, вполголоса напевая песню, Костров полоскал в реке швабру. Пряди ее, как у медузы, распускались в воде в виде шапки или зонта. Вытащив и отжав вымытую швабру, Костров подвешивал ее для просушки на солнцепеке и затем с удовольствием шел по натертой до блеска палубе.

Через два дня помощник командира лейтенант Свиридов уже сказал как-то мимоходом боцману:

— Новый краснофлотец, кажется, парень толковый, дело любит,

И Гущин в ответ мрачно прохрипел:

— У меня полюбит. Научим полюбить.

Мрачность была ненастоящей. Костров уже успел завоевать сердце старого волгаря своей веселой неутомимостью. Впрочем, боцман, как и многие люди, был склонен приписывать достоинства подчиненных только собственной служебной рачительности.

Проходя иногда мимо убиравшего палубу Кострова, он сердито покрикивал:

— Ну, ну, пошевеливайся! Во флоте служишь! Тут тебе не деревня!

Но Костров уже знал, что строгость Гущина напускная, что человек он, в сущности, добрый, и потому несоответственно бойко и приветливо отвечал:

— Есть пошевеливаться, товарищ боцман!

Обнаружилось, что Гущин любил поразмышлять вслух. Предрасположенная к поучениям натура его требовала от слушателя полнейшего внимания и даже трепета. Вероятно, поэтому он и избирал теперь в качестве собеседника самого молодого краснофлотца.

— Понимаешь ли ты, что такое флот? — спрашивал боцман Кострова. — Флот есть гроза морей и защита отечества. Флотский человек супротив других всегда должен втрое выстоять. Потому что моряк, скажем, против пехотинца все равно, что дуб против осины: хоть цвет-то и тот, да крепче прет... Честь флотскую надо пуще глаза блюсти.

Он умолкал на минуту, как бы выбирая, что бы еще такое полезное и особенно важное сказать Кострову. Поучения его не всегда совпадали с буквой устава, но шли от самого сердца, а потому и оказывали на Кострова сильное воздействие.

— Знаешь ли ты, что в корабельном уставе о краснофлотском флаге сказано? — продолжал Гущин. — Корабли, сказано, советские ни при каком случае не должны спущать флага перед противником. И всегда, значит, должны трясти немца, чтобы он в разум входил, чтоб не забывался и почаще про маму с папой поминал. Понимаешь?

Костров с готовностью выражал полнейшее понимание. Боцман был доволен подчиненным и, подняв к небу свой заскорузлый, похожий на сучок старого дерева палец, заканчивал беседу внушительным молчанием.

Мирная жизнь на далекой от фронта речной базе продолжалась всего пять дней. Команда была укомплектована, ремонт механизмов закончен. Корабль получил боевое задание и через три дня уже подходил в предрассветной мгле к осажденному Сталинграду.

Глядя на дымившиеся развалины, стоявший на палубе боцман проговорил:

— Изувечили город, ироды! .. Красавец город был... По гроб жизни этого забыть невозможно.

А на круглом мальчишеском лице краснофлотца Кострова впервые в жизни появлялось выражение мужественной решимости и сдержанного гнева.

В тот же день, высаживая десантный отряд на

блокированном участке правого берега, корабль попал под сильный артиллерийский обстрел.

Костров никогда еще не слышал такого оглушительного грохота. Снаряды немецких орудий взметали к небу столбы воды. Осколки со скрежетом ударялись в металлические части, и бешеная воздушная волна проносилась по палубе, сбивая с ног людей.

Высадившиеся на берег моряки, преодолев проволочные заграждения, уже шли в атаку на прибрежные холмы, за которыми скрывались вражеские батареи.

Орудия корабля, поддерживая атаку, вели беглый уничтожающий огонь. Черные клубы земли и дыма вставали над занятыми немцами холмами.

Боцман Гущин, очевидно, чувствовал себя среди грохота и взрывов как нельзя лучше. Коренастая его фигура мелькала то тут, то там. Без обычной мрачности, весело и властно покрикивая, он приказывал краснофлотцам то подтянуть ослабнувшие швартовы, то сменить разбитые сходни, по которым сбегали на берег подносчики боеприпасов. Казалось, грозившая отовсюду смерть была доброй приятельницей боцмана и он улыбался ей в лицо вдохновенной улыбкой.

Внезапно в кормовую часть корабля попал снаряд. Загорелись палубные надстройки. И боцман с краснофлотцами бросились тушить огонь.

Краснофлотцы быстро растащили деревянные части. Они набрасывали на огонь кошмы, засыпали его песком, топтали ногами и заливали водой.

Костров вместе со всеми тушил пожар, стремительно носясь по палубе. Он впервые участвовал в серьезном бою, но страха не было. Напротив, он испытывал то же самое вдохновенное возбуждение, какое видел на лице Гущина. Он чувствовал в своих мускулах какую-то необыкновенную легкость и цепкость. И ему хотелось кричать так же грозно и устрашающе, как кричали на берегу люди в черных бушлатах, атаковавшие расположение немецких батарей.

Над Волгой свистел холодный октябрьский ветер. На кормовом штоке корабля развевался военно-морской флаг. Белое полотнище трепетало в воздухе, и голубая полоса на нем струилась и изгибалась, как широкая речная волна. Неугасимо сияла на флаге красная звезда. И каждый раз, когда Костров взглядывал на развеваемый ветром флаг, ему казалось, что звезда эта даже при солнце горит живым и ярким пламенем.

Послышался визг приближающегося снаряда. У борта раздался сильный взрыв. Целая гора воды, осколков и грязи обрушилась на палубу.

Кострова бросило на спину и несколько раз перевернуло. Он отлетел к кормовому тамбуру и сильно стукнулся головой. Быстро вскочив на ноги и бросившись сгоряча вперед, он споткнулся о чье-то распластавшееся по палубе тело.

Это был Гущин.

Сшибленный с ног и раненный осколком боцман лежал на боку в неестественной, неудобной позе, силясь освободить подвернувшуюся руку. Темный

ручеек крови выползал из-под его тяжелого крупного тела. Загорелое кирпичного цвета лицо его странно посерело и обмякло.

— Товарищ боцман! — закричал Костров. — Вас никак ранили?

— Нет, кашей накормили, — прохрипел Гущин. — Чего шум без толку поднимаешь?

Краснофлотец наклонился к боцману, чтобы перевязать рану, но Гущин, высвободивший, наконец, свою руку, отстранил его. С усилием приподнявшись на локте, он смотрел в реку, за корму корабля.

— Не видишь? — с мрачной сердитостью вопрошал он Кострова. — Не видишь, что флага на штоке нет?

Только сейчас молодой краснофлотец увидел, что на перешибленном осколком флагштоке не вьется и не хлещет по ветру белое полотнище флага. Лишь расщепленный остаток шеста, точно сломанный зуб, торчал на корме. Обломок флагштока вместе с флагом плыл вниз по течению и был уже довольно далеко. Полотнище еще не успело намокнуть и держалось поверх воды.

Не раздумывая, Костров сорвал с себя бушлат и бескозырку и кинулся в Волгу.

Ледяная вода тотчас же пронзила его до костей. Но он, не чувствуя холода, быстрыми саженками плыл за уносившимся по течению белым пятном.

Раз-другой он оглянулся назад, на оставшийся за спиной корабль.

С корабля попрежнему гремели орудийные вы-

стрелы, но Кострову уже казалось, что стрельба идет не так ладно и споро и что люди на палубе двигаются не так быстро и ловко. Корабль, как человек, с которого сорвали шапку, стоял перед врагом как бы с непокрытой головой.

Очевидно, там, за правобережными холмами, в расположении немцев, заметили, что на корабле нет флага. Обстрел усилился. По краснофлотцу, уже подплывавшему к флагу, тоже открыли огонь из пулеметов и автоматов. Костров видел, как то спереди, то сзади его закипала вода и взлетали брызги, точно от внезапного сильного ветра. Это врезалась в реку пулеметная очередь. Водяной горб от взорвавшегося в стороне снаряда покрывал Кострова с головой. Мощный смерч захватывал в крутящуюся воронку и втягивал в речную глубину. Но в последнюю минуту, когда, казалось, уже совсем не хватало воздуха, Костров вырывался из воды и успевал вздохнуть.

Наконец, он догнал уплывавший обломок флагштока. И зажав край полотнища зубами, поплыл к берегу. Плыть обратно, против течения, не было сил, да и не имело смысла.

Выбравшись на берег, Костров, низко пригнувшись, побежал по хрустевшей и осыпавшейся под ногами гальке. На участке берега, простреливавшемся немцами, по Кострову еще били из винтовок и автоматов. И прежде чем он добрался до корабля, шальные пули несколько раз обожгли его тело.

Окровавленный, в разодранной мокрой одежде,

задохнувшийся от быстрого бега, но счастливый и сияющий, он влетел по сходням на палубу и передал флаг прямо в руки помощника командира лейтенанта Свиридова.

— Молодец, Костров! — сказал лейтенант с чувством... — Блюдешь честь флотскую.

И краснофлотец коснеющим языком, невнятно произнес:

— Служу Советскому Союзу!

Кто-то подхватил Кострова под руки, и он смутно помнил несколько следующих затем минут, пока его несли куда-то вниз, через кормовой тамбур.

Пришел он в себя на диване в кают-компании. Наклонившийся над ним фельдшер, оканчивавший последнюю перевязку, похлопывал его по плечу и ободряюще говорил:

— Счастлив ты, Костров, как я погляжу! Четыре ранения и ни одного страшного. Через два дня прыгать будешь. Вот Гущину меньше повезло.

Костров привстал, озираясь, и рядом, на таком же прикрытом простыней диване, увидел коренастую фигуру Гущина.

Боцман лежал навзничь, запрокинув и вдавив голову в подушку. Через разрезанные ножницами форменку и тельняшку видны были опутывавшие его бинты. Губы Гущина еще шевелились, он бормотал что-то в беспамятстве. Но на провалившемся, сразу постаревшем лице его уже лежала тень смерти.

Костров сначала сел, опустив ноги на пол, а потом и совсем встал с дивана. Особой слабости он

не чувствовал. Только сердце, непривычно ощутимое и, казалось, увеличившееся, ровно и сильно билось в его груди. В голубых глазах молодого краснофлотца светилась сосредоточенная решимость зрелого, много пережившего человека.

— Куда, куда ты, Костров? — поспешно сказал фельдшер. — Тебе лежать надо.

Но Костров спокойным, солидным, исключавшим всякую дискуссию тоном ответил:

— Полежим, будет время, товарищ Калмыков! Еще наотдыхаемся.

Он вышел из кают-компании и, поднявшись по лестнице, задержался на минуту у выхода из кормового тамбура.

Ярко светило солнце. Река, казалось, вся состояла из одного слепящего блеска. Дул сильный мускулистый верховый ветер.

Орудия корабля грохотали беспрерывно. До слуха Кострова донесся мощный крик сотен голосов. И он увидел, как темная лавина флотских бушлатов пошла на взрытые, замолкавшие холмы в решительную атаку.

Костров взглянул на новенький кормовой флагшток.

Уже высохший белый флаг с голубой полосой бурно развевался по ветру в прозрачном осеннем воздухе. Красная звезда на нем, казалось, горела еще ярче, чем прежде.

И краснофлотец шагнул из тамбура на палубу, навстречу стремительному октябрьскому ветру.

ЯРОСТЬ

1

Прямо перед амбразурой лежала улица — вернее то, что было когда-то улицей. В проломе стены видны были искалеченные дома. Полуразрушенная кирпичная кладка — остаток какого-то здания — косо, уступами пересекала ясную голубизну неба. На сохранившихся фасадах вместо окон и дверей чернели мертвые провалы.

Все, что могло сгореть, сгорело, оставив на стенах уродливые языки копоти. Чудом сохранившаяся вывеска, державшаяся на одном костыле, криво висела на противоположной стороне улицы. Она тоже обгорела, и только две таинственные буквы «ОМ» светились на искоробленной ее поверхности.

Дорога была завалена кирпичным щебнем. Циклопический обломок рухнувшей стены загромождал проезд. Как-то неловко, на ребре, лежал на краю искрошенного тротуара измятый, изгрызанный несгораемый шкаф.

Это была обыкновенная улица в осажденном городе, который не хотел сдаваться.

Горький дым смерти и пожарища застилал воздух, придавая дневному свету тревожный красноватый оттенок. Слышались то и дело близкие и отдаленные взрывы. Сварливый треск пулеметов почти непрерывно звучал в ушах. С воющим свистом падала фугасная бомба, и через одну-две секунды отрывистый удар потрясал под ногами землю.

Климов стоял у пулемета, цепко ухватившись за его ручки. Он неотрывно смотрел в дымный прямоугольник перекрестка. В сизоватом пространстве не видно было никакого движения. Казалось, там, за кучами кирпичного щебня, за мертвыми провалами полуразрушенных домов, не было уже ни одного живого существа. Временами, быть может на несколько мгновений, наступала почти полная тишина. И в эти немногие секунды Климову казалось, что тишина тоже звучит в ушах гулким стуком толкавшейся в венах крови.

Он не стрелял.

Он только крепко держал пулемет за ручки, готовый в любую минуту нажать спусковой рычаг. Патронов было не так-то уж много, и Климов экономил их, как экономят при дальнем переходе хлеб и воду.

Немцы осаждали полуразрушенное здание, занятое отрядом морской пехоты. Они засыпали его потоками пуль, обстреливали из орудий, бомбили с воздуха. Но как только на перекрестке, защищаемом моряками, появлялись дико орущие люди, свинцовый вихрь преграждал им путь.

Из кирпичной коробки полуподвала, где находился Климов, выхода, кроме амбразуры, не было. Дверь за спиной пулеметчика завалило грудой кирпичей и плит. Лестничный пролет рухнул сегодня на рассвете, и сообщение с другими частями дота прервалось. Климов не знал, живы ли его товарищи там, за стеной полуподвала. Но он знал, что, пока его пальцы способны были нажимать спуско-

вой рычаг, ничто живое не могло пройти через охраняемое им пространство, куда был установлен прицел его пулемета.

В двух шагах от Климова, уткнувшись лицом в стену, лежал человек. На штукатурке около человека виднелись грязноватые брызги, словно в этом месте ударили мокрой тряпкой. Пуля попала человеку в глаз. Оставшиеся в живых повернули бойца так, чтобы не видеть обезображенное, залитое кровью лицо его, которое всего несколько часов назад улыбалось живой человеческой улыбкой.

Чуть поодаль, у передней стены, раскинув руки и склонив голову на грудь, полусидел-полулежал другой человек. Бледное лицо его было мертвенно неподвижно. Но он не был мертв. Он просто спал. В наступавшей изредка тишине Климов отчетливо слышал его дыхание и вкусный, самозабвенный храп.

Из семи человек, занимавших вчера полуподвал, кроме Климова, остался в живых только этот один, спавший. Один был убит еще вчера и вынесен наружу. Трое были задавлены при взрыве, когда рухнул лестничный пролет. Тот, что лежал повернутым к стене, умер сегодня за пулеметом.

Лицо единственного живого товарища, оставшегося рядом с Климовым, было безмятежно и счастливо, как у младенца. Блаженное забытье крепкого все поглотившего сна разгладило на нем все морщины, придало мужественным чертам детское выражение. Лишь иногда спавший начинал бормотать что-то во сне. И тогда медленно шевелились

его мертвенно бледные губы и из-под вздрагивавшего века показывался синеватый белок.

Климову спать не хотелось. Он успел соснуть, пока еще живы были те пятеро. Голова у него была ясная. Каждая мысль вставала перед ним в предельной завершенности, точно написанная на бумаге. Каждая вещь представлялась глазу во всех своих ранее не замечавшихся подробностях. Он видел, как вздрагивала при ударе бомбы и покачивалась косо висевшая вывеска. Вихрь взрывной волны поднимал над улицей стремительную муть пыли и дыма, но даже сквозь пыль и дым он видел все: скатывался ли где с кирпичной кучи обломок, шевелились ли обгрызанные сучья дерева, высовывавшиеся из-за стены, вылетал ли из черного провала окна тонкий беловатый дымок.

Там впереди, на груде кирпичного щебня, перевернутый вверх ножками лежал сломанный домашний стол. Это был обыкновенный семейный стол стандартного производства с квадратными подпорками, с раздвижной двуслойной доской. Неизвестно почему, но этот стол вызывал в Климове странное, не совсем ему понятное чувство. Что-то душное, как внезапный гнев, поднималось в его груди, и он отводил взгляд от этого обыденного предмета с усилием, как человек, призывающий себя к благоразумию. Он не знал, почему так было. Ему не рисовалось ничего, связанного с этим столом, выброшенным на улицу взрывной волной или упавшим с грузовика. Он не представлял себе ни семьи, которая когда-то сидела за этим столом, не

вспоминал ничего подходящего из собственной жизни. Он только ощущал, как мутная волна злобы, ярости, какого-то бешеного чувства вдруг поднималась в нем. Рука его, державшая ручку «Максима», судорожно сжималась. И он отводил взгляд, чтобы очнуться от яростной мути, вдруг наполнявшей его голову.

За исковерканной стеной лежавшего напротив дома временами слышался крик. Звучали слова команды на незнакомом языке. Лающий тенор немецкого обер-ефрейтора обрывался на самой высокой ноте, словно прерванная шиканьем ария. Тонкое повизгивание возникало в ушах Климова. И дом на углу перекрестка начинал разговаривать с ним на железном языке войны. В черных провалах окон возникал красноватый отблеск. Пулеметов не было видно. Они били откуда-то из глубины здания. Об их работе свидетельствовали только вот это слабое в дневном свете красноватое мерцание да пыльное щелканье ударявшихся в кирпич пуль.

Климов не видел немцев, но ясно представлял их там, в доме, на углу перекрестка. Они ходили по искалеченному зданию, тявкающими голосами перекликались друг с другом.

Он ненавидел все: звуки долетавшей до его слуха команды, слова непонятного языка, даже стены, за которыми они произносились. И когда с гиканьем, с воем, после бешеного обстрела и оханья взрывавшихся гранат из-за груд каменного мусора вдруг выпрыгивали зеленые шинели, он ощущал в себе

вдохновенную радость уничтожения, злорадный восторг убийства.

Пулемет трепетал под рукой Климова, выплевывая огненную струю. Зеленые комки, сначала уверенно выбегавшие на перекресток, начинали метаться из стороны в сторону, рассыпаться, прятаться за кучи разваленного кирпича, а он косил и косил их, чувствуя опьяняющую злобу.

Зеленые шинели уползали по своим щелям.

И Климов переставал стрелять, сожалея, что так много времени отведено ожиданию и так мало работе.

2

Становилось все холоднее.

В пролом стены дул жесткий, промерзлый ветер. На небе, казалось, попрежнему не было облаков, разве какая-то белесая дымка, но начинал спускаться редкий сухой снежок. Он падал на обледеневшую землю и катился по ней, как пыль.

В пролом очень скоро намело кучку снежной крупы. Климову хотелось пить. Он брал снег горстью и отправлял в рот, чувствуя, как деревянеет его язык.

Необходимо было хоть на минуту отойти от пулемета, чтобы согреться и размять застывшие ноги.

Не спуская глаз с улицы, Климов дотянулся до лежавшего на земле человека и толкнул его в плечо. Человек даже не пошевелился. Климов толкнул его сильнее. Раздалось невнятное бормотанье, голова человека качнулась, но через секунду опять

запрокинулась набок. И в полуподвале снова загудел вкусный самозабвенный храп.

Наконец, Климов решительно растолкал спавшего человека.

— А, что?.. Чего тебе? — пробормотал тот, просыпаясь.

Блаженное выражение все еще не сходило с его лица. Возвращаясь из счастливого забытья, он еще в первые секунды не понимал, что с ним, где он, зачем его толкают.

— Вставай, Стасов! — сказал Климов.—Застыл я тут, стоя...

Мысль утвердилась, наконец, в голове Стасова, и он вскочил на ноги, отбрасывая шинель, которой был прикрыт во время сна.

— Извиняюсь, товарищ старшина! — проговорил он приятным тенорком. — Извиняюсь, заспался.

Согнувшись, он прополз под амбразурой и приблизился к Климову.

— Теперь я опять человек, — улыбнулся он, сладко потянувшись. — Можно снова поработать.

— Возьми у меня в сумке бинт, перевяжи! — кратко сказал Климов.

Пока Стасов спал, рикошетировавшая пуля содрала кожу на шее Климова. Он приложил к ранке платок, но она все-таки кровоточила, и не лишне было перевязать ее поплотнее.

Стасов засуетился, озабоченно поглядывая на старшину. От тревоги бледное его лицо стало еще серее.

— Ничего! — успокоительно проговорил Климов. — Пустяковая царапина.

Ему было приятно это невыдуманное беспокойство товарища. Стасова он знал еще по монитору, на котором они вместе плавали до конца октября на Волге. Две недели назад монитор был потоплен. Оставшаяся в живых команда вся целиком изъявила желание драться в составе морской пехоты.

Климов любил службу на корабле. При одной мысли о потопленном мониторе у него начинало ныть под ложечкой. Но именно поэтому ему и хотелось достойно расквитаться с немцами здесь же, под Сталинградом. Он вообще ценил людей из своей команды, а к этому Стасову, единственному оставшемуся в живых, он чувствовал почти нежность.

— Ну, ну! Верно говорю, можешь посмотреть. Только кожу содрало.

Стасов внимательно осмотрел рану и в заключение с видом стажированного медика покачал головой.

— Золой, говорят, хорошо присыпать. У нас в Солонихе дед Васяй золой пользует.

Он перевязал Климова бинтом из индивидуального пакета, видимо, сожалея, что Санитарное управление не додумалось до васяевского универсального средства.

— Ну, как фрицы, полаивают? — спросил он.

Отвечать было не нужно.

По остаткам здания, где сидели краснофлотцы, начинался артиллерийский обстрел. Каждую минуту слышался вой приближавшегося снаряда. Затем где-

то поблизости раздавался звонкий лязгающий удар. Вздыхала под ногами земля. Некоторое время слышался глухой шум валившихся обломков. И затем — опять тот же нараставший, приближавшийся вой.

Оттуда, из дома на углу перекрестка, очевидно, корректировали огонь. Несколько снарядов попало в самое здание. Пыль и куски цемента сыпались с крепкого бетонированного потолка; на его серой поверхности появлялись зловещие трещины. Одна из балок прогнулась посредине.

— Эх! — с отчаянием и досадой сказал Стасов. — Сюда бы Машеньку с нашего «Смелого». Вот бы мы с ними поразговаривали.

«Машенькой» на мониторе называлось орудие главного калибра. Стасов выразил мысль самого Климова. Слыша над своей головой тяжелый грохот, старшина сжимал кулаки.

Впрочем, они напрасно жалели о «Машеньке». Наши батареи тоже не теряли даром времени. И вскоре немцы вынуждены были замолчать.

По всем признакам надо было ждать очередной атаки.

Стасов, прильнув к пулемету, смотрел через прицел на перекресток. Как фокусник или манипулятор, вытянув вперед руку, то раздвигая, то сгибая пальцы, он высчитывал расстояние до цели. Каждый палец «стоил» у него известное число тысячных. Он без инструментов производил довольно точно все нужные промеры.

Климов под прикрытием стены подпрыгивал, колотил ногой об ногу и быстро-быстро потирал руки.

стараясь размяться и согреться. Из дома на углу перекрестка вновь уже доносились звуки команды. Фальцет ефрейтора обрывался на тонкой визжащей ноте. И за ним следовал гул лающих голосов.

— Отчего это, товарищ старшина, у немцев язык такой чудной? — спрашивал Стасов неторопливо, видимо, подчеркивая свое спокойствие и даже щеголяя им. — Право, точно тупой пилой бревно пилят. Один треск да шип какой-то.

— А это, наверное, оттого, — усмехнулся Климов, — что у немца вместо горла задняя кишка вставлена...

Он помолчал, прислушиваясь. Но так как там, на улице, ничего особенного не происходило, он счел возможным продолжить:

— Не люблю фрицев, пакостная порода. Тут еще как-то до войны, лет за семь, появился у нас на заводе инженерик из Эссена, Шпуль по фамилии. Сам с ноготь, а гонору целый воз. Все ходил по цехам да пофыркивал, словно он там у себя, в Германии, нюхательного табаку нанюхался на всю жизнь. Прямо в глаза никогда не смотрел. Все поверх глядеть норовил: дескать, ты не человек передо мной, а так какое-то насекомое... Много я с этим немчиком крови перепортил...

В эту минуту рассказ Климова был прерван сначала каким-то хрипом и потрескиванием, а потом уже звуками человеческого голоса. Поблизости начинал действовать громкоговоритель.

Полевой радиоузел передавал сообщение Информбюро, что части Красной Армии, прорвав оборону

противника северо-западнее и юго-западнее Сталинграда, зажали в кольцо всю сталинградскую группировку немцев.

— Постойте-ка, товарищ Климов! — проговорил Стасов. — Постойте-ка!.. Да ведь это значит наступление?!..

Глаза у него стали круглыми не то от восторга, не то от удивления, и он вдруг во всю силу легких заорал:

— Урра!.. Урра!.. Заклепывай немчуру наглухо! Дуй ее в хвост и в гриву! Урра!..

Он бросился к Климову, стиснул его плечи, и теплые, влажные губы прижались к климовской щеке.

Вокруг звучало такое же, только тысячекратно умноженное, исступленное «ура». Оно доносилось и из-за глухой стены полуподвала, из-за прогнувшегося бетонированного потолка. Оно неслось из разрушенных домов. Мертвые камни и обвалившиеся стены, за которыми, казалось, не было уже ничего живого, сама сухая, выжженная, обледенелая земля — гремели этим нараставшим, все усиливавшимся, как обвал, «ура».

Это «ура» звенело в ушах Климова как призыв к жизни.

Заваленный в полуподвале, отрезанный от своих, без пищи и воды, с небольшим запасом патронов, он уже втайне решил, что их час пробил, что Стасову и ему осталось только подороже отдать свою жизнь. Бессмертное «ура» вливалось в него точно донорская кровь, принося с собой свежие силы и веру в победу.

Климов стоял в каком-то странном оцепенении восторга, чувствуя в груди неведомую сладкую переполненность, почти опьянение. Злоба, та самая злоба, которую он постоянно чувствовал в себе, которая зажигала его, теперь получала какое-то удовлетворение. Наступал час расплаты для всех этих лающих по-собачьи «шпулей». Именно в образе того самого инженера из Эссена, испортившего ему немало крови, представлял себе Климов всех немцев. Теперь перед ним ясно, ослепительно ясно, точно освещенная вспышкой магния, вставала самодовольная розовая, как у новорожденного поросенка, физиономия Шпуля, искривленная страхом и досадой.

Климов не находил для выражения своих чувств ни слов, ни звуков, ни движений. Только большие, озябшие, чуть посиневшие руки его, высовывавшиеся из рукавов шинели, вздрагивали и шевелились, крепче притискивая неистовавшего Стасова.

— Живы наши корешки! — кричал краснофлотец. — Не так-то скоро их из земли выдергаешь. Слышишь, голос подают!..

И он кивал головой на стены и потолок, за которыми все еще взрывалось время от времени мощное «ура».

3

Кирпичная стена над головой Климова внезапно задымилась. Красная пыль и щебень полетели во все стороны полуподвала. Послышалось сразу несколько пулеметных очередей.

— К пулемету, Стасов! — крикнул Климов, бросаясь к амбразуре.

Но краснофлотец не последовал за ним.

С каким-то стыдливым, растерянным и извиняющимся выражением на лице он медленно опускался на колени, сползал с ящиков от патронов, к которым было привалился. Серая мертвенная тень опускалась на его глаза. Очевидно, он что-то хотел сказать, но только судорожно задергал губами. Потом, как бы мгновенно обмякнув, он упал на землю, и затылок его тяжело, деревянно стукнулся о стену.

— Стасов, Стасов! .. Петя! — позвал Климов.

Стасов не откликался. Пуля попала ему в висок.

Горячий вихрь крови ударил Климову в голову, заполнил грудь, пробежал по рукам и ногам. Сразу сделалось тепло, даже жарко. И Климов, пригнувшись к коробу пулемета, схватился за ручки.

Там, за грудами обожженного лома, уже были зеленые шинели. Из дома на углу перекрестка выбегали и выскакивали из окон все новые и новые солдаты. Стреляя из автоматов, они устремлялись в тесное пространство улицы, куда был обращен климовский пулемет.

Было больно повертывать голову — рана на шее, очевидно, воспалялась. Но думать об этом не приходилось. Климов видел только поток зеленых шинелей, рвущийся к незащищенному проходу.

Орал что-то по-немецки невидимый громкоговоритель. Частые звуки стрельбы, забористая русская брань и чужой многоголосый говор смешались в какую-то странную какофонию, раздиравшую уши.

Повидимому, этот участок простреливался одним климовским пулеметом. Старшина судорожно нажал на спусковой рычаг. И тотчас же смертоносный вихрь начал сбрасывать с ног людей в зеленых шинелях.

Они уже не бежали с торжествующим ревом прямо на Климова, а метались по перекрестку, залегали ползли, выли от боли и страха. Пулемет дрожал в руках Климова в каком-то злорадном исступлении. Но сам старшина не чувствовал уже облегчения, видя, как падают эти ненавистные люди.

Этого для него уже было мало.

Он хотел сам ощущать под своими руками злобные, дико ревущие глотки. Чтобы утишить сжигавший его огонь, ему нужно было хоть на мгновение, но близко и самому заглянуть в стынущие глаза немцев, которые попирали ногами его землю, уничтожали любимые вещи, убивали близких людей.

Он что-то кричал, не понимая собственных слов. Пулемет его, как живое существо, быстро повертывался то вправо, то влево. Дуло его накалилось. В кожухе бурно кипела жидкость.

Но вот глухо, вхолостую стукнул в последний раз ударник. И Климов только сейчас понял, что патроны все вышли.

Груда использованных лент валялась на земле. Пулемет, как и лежавшие неподалеку люди, был мертв.

Климов закричал. Он не в силах был удержать этот сам собой родившийся крик. Зубы его застучали в неудержимой, от воли не зависившей лихорадке. Душная волна всепоглощавшей ярости подхва-

тила его, как ветер. Он сбросил с себя шинель, схватил пачку приготовленных гранат, обвязался ими и, зажав в руке винтовку, одним прыжком выбросился на улицу.

Одно неудержимое желание бить, уничтожать, крошить людей в зеленых шинелях наполняло его душу.

Он не отдавал себе отчета, что один шел против этой, уже поднимавшейся из-за камней оравы.

Но, очевидно, такой же вдохновенный боевой подъем испытали и его товарищи. Климов услышал за своей спиной могучий, сливавшийся с его криком звук русского «ура». Оглянувшись на мгновение, он увидел, что из окон и дверей покинутого им здания, из каменных дыр, проломов и ям повсюду выпрыгивали знакомые фигуры краснофлотцев.

Казалось, неведомой силы попутный циклон подул в спину Климова от этой неудержимой лавины людей, шедших в решительную атаку. Старшина летел по воздуху, распластавшись, как птица. Звериную легкость и силу ощущал он в своих мышцах. Он ударил прикладом подвернувшуюся голову в каске, в следующий миг воткнул штык во что-то тяжелое, мягкое, визжащее и уже бежал дальше, за повернувшими назад немецкими солдатами.

Великую, незнаемую раньше радость, неизъяснимое облегчение чувствовал он в этом неукротимом движении вперед. Он вскочил в окно дома на перекрестке и там даже в ослеплявшем его полумраке он находил и угадывал людей и бил, колол, сокрушал визжащих «фрицев».

— Рубай, братцы! Круши немчуру!.. Урра! — кричал он, с восторгом слыша, как повторяются его слова в устах десятков краснофлотцев.

Черные бушлаты уже выскакивали на следующую за домом улицу. Впереди всех без шапки и шинели, в разорванной «робе», сквозь которую виднелась полосатая тельняшка, бежал Климов.

Он забыл про подвешенные у его пояса гранаты. Он действовал винтовкой, как дубиной, сшибая с ног и опрокидывая встречавшихся немцев. Вокруг тонко повизгивали пули, гулко рвались гранаты, сыпалась со стен кирпичная пыль. Не раз острая боль обжигала то плечо, то руку, но Климов все бежал и бежал вперед, ощущая в груди звонкую ликующую радость.

Неожиданно из-за поворота показался немецкий танк. Только сейчас краснофлотцы услышали трескучий лязгающий гул его гусениц.

Танк был еще далеко, но уже вел губительный огонь. Сразу поредели передние ряды краснофлотцев. Помимо воли бросались они на землю, под прикрытие разбитых стен и камней.

Застыл на минуту и Климов.

Танк шел ровно и споро, с неодолимым механическим упрямством. Подминая под себя груды земли, дерева, кирпичей, тупое тяжелое чудовище, не чувствительное к мелким укусам, грохоча ломилось в притихшее пространство улицы, все давя и уничтожая на своем пути. В его движении было что-то такое же самодовольное и презрительное, как и в жестах опять вспомнившегося Климову инженера Шпуля.

И вдруг в голове Климова, как будто вспыхнул ясный ослепительный свет. Неужели же он позволит погасить в себе ликующую радость мести? Неужели он отступит перед этой тупой горой железа? Полусогнувшееся тело его мгновенно выпрямилось, точно внутри развернулась стальная пружина, и старшина бросился вперед, прямо на ревущее, лязгающее, совсем близко надвинувшееся чудище.

Он был уже в «мертвом пространстве» танка. Снаряды летели поверху, не причиняя Климову вреда.

Срывая с пояса гранаты, человек в краснофлотской «робе» неудержимо бежал навстречу скрежещущей по камню машине. Священная ярость, какое-то никогда еще не испытанное раньше гневное озарение несло его на своей головокружительной волне.

В последнее мгновение старшине показалось, что в смотровую щель танка глядят на него пустые, без мысли и выражения, глаза инженера Шпуля.

Глухая черная тень надвинулась на весь мир, и Климов столкнулся с ней грудь с грудью.

Раздался грохот.

Камни, куски железа, обрывки гусеничной цепи полетели в воздух. Танк тяжело осел, загорелся мотор, показалось яркое пламя.

Вдоль улицы, ширясь и нарастая, вновь уже неслось горластое краснофлотское «ура». Шквал сотен бушлатов катился мимо замолчавшего танка туда, в гремящее рвущееся пространство, где людей ждала победа.

ОГЛАВЛЕНИЕ



Редактор *М. Днепровский*

Подписано в печать 19/VI 1943 г. ГМ 40651 Печ. л. 2. Печ. зн. в 1 п. л. 61 052. Уч.-авт. л. 2,17. Зак. 2328

1-я типо-литография УВМИ

Отзывы об этой книге и предложения по изданию серии „Фронтовая библиотека краснофлотца", а также свои дневники, записи боевых эпизодов, очерки, рассказы, стихи, песни Военно-Морское Издательство просит присылать по адресу: Москва, 22, Малая Грузинская, д. 6, Военмориздат.

70 коп.